

НЕПРИКАЯННЫЕ ДУШИ



Амелия ЭДВАРДС

САЛОМЕЯ

Несколько лет тому назад — сколько именно, значения не имеет — я, Харкорт Блант, путешествовал на пару с моим товарищем Ковентри Тернером и однажды на ступенях гостиницы услышал от него торжественное признание: он снова влюблен.

— Уверяю тебя, Блант, — сказал мой спутник, — такой красавицы я в жизни не видывал, она бесподобна!

Я расхохотался.

— Дружище, — ответил я, — в который уж раз встречаешь ты бесподобную красавицу!

— Так-то оно так, но я впервые говорю положи руку на сердце.

— Да ведь в который уж раз ты говоришь положи руку на сердце! Вспомни хотя бы дочку трактирщика в Кёльне.

— Хорошенькая горничная, да только такую, как ни муштруй, в приличном обществе показать нельзя.

— А красавица-американка в Интерлакене?

— Не спорю, но...

— А *Bella Marchesa*¹ на балу у князя Торлони?

— Ни одна из них не сравнится с моей царственной венецианкой. Прогуляешься со мной по Мерчереи, убедишься сам. Отсюда в гондоле до площади Святого Марка рукой подать, доберемся за четверть часа.

Я согласился, и всю дорогу он расписывал мне свою новую пассию. Она еврейка — дайте срок, и он ее обратит. Отец ее держит лавку в Мерчереи — так что с того? Он торгует только дорогим восточным товаром и богат, как Ротшильд. Что же до возможных осложнений в связи с его, Тернера, собственными видами на будущее — неужто он станет колебаться из-за эдакого вздора? Чего стоят эти «виды», когда на другой чаше весов счастье всей его

¹ Прекрасная маркиза (*ит.*).

жизни? К тому же он не тщеславен. Членство в парламенте его не прельщает. И если дядюшка — сэр Джеффри — не отпишет ему ни гроша, так что же? У него есть свои, пусть скромные, средства, уж их-то ни одна живая душа не отнимет, а чего более можно желать по здоровом рассуждении?..

Я слушал, улыбался да помалкивал. Слишком хорошо я знал Ковентри Тернера, чтобы придавать малейшее значение его словам и поступкам в делах такого свойства. Влюбляться до самозабвения было для него в порядке вещей. Мы дружили с детских лет; и с тех пор, как он безо всякой надежды на взаимность увлекся молодой особой из кондитерской лавки в Харроу, не припомню, чтобы сердце его бывало свободно более чем несколько недель кряду. За пять месяцев нашего совместного путешествия он прошел все изнурительные этапы целых трех *grandes passions*¹; и, несколькими неделями раньше покинув Рим с разбитым вдребезги сердцем, склеить которое не представлялось возможным ни при каких обстоятельствах, он теперь, повинувшись естественному ходу событий, вполне воспрянул, чтобы снова влюбиться.

Мы сошли на берег возле Святого Марка. В то утро, почти в середине апреля, ровно десять лет назад, на небе не было ни облачка. Дворец дождей ослепительно сверкал под жаркими лучами солнца; тут и там гондольеры, сбившись в кучки, обсуждали празднующихся; под арками пьядетты бойко шла торговля апельсинами; за уличными столиками приветливых кафе уже расположились фланеры, наслаждаясь мороженым и утренней сигаретой. Прямо перед собором Святого Марка играл австрийский военный оркестр — портупей, пряжки, усы, белоснежные мундиры; и через всю площадь протянулась сонная тень огромной колокольни.

За низким сводчатым проходом, ведущим к Мерчерии, мы окунулись в прохладный лабиринт узких, извилистых, живописных улочек, куда не заглядывает солнце, где не услышишь скрипа колес и не увидишь вьючное животное; где что ни дом, то лавка, снизу доверху набитая товаром, словно на восточном базаре; где балконы стоящих друг против друга домов почти сходятся у тебя над головой, разделенные узкой щелкой знойного неба; и где три человека уже не разойдутся. Кое-как протискиваясь сквозь раз-

¹ Великих страстей (*фр.*).

ношерстную толпу, которая без умолку трещит, торгуется, покупает, продает и пребывает в бесконечном колыхании, мы дошли наконец до лавки с восточными товарами. На уличном прилавке только и было что стеклянные банки с приправами да неопрятные россыпи дешевых побрякушек; зато внутри лавка, на вид темная и тесная, ломилась от восточных сокровищ. Целые сундуки восхитительных украшений, вышивок, кистей и бахромы из массивной золотой и серебряной канители, драгоценные снадобья и душистые травы, изысканные филигранные безделицы, подлиннные чудеса резьбы по кости, сандалу и янтарю, усыпанные камнями ятаганы, сверкавшие «алмазами и перлами»¹, парадные турецкие сабли, тюки кашемировых шалей, китайского шелка, индийского муслина, кисеи и тому подобного заполняли каждый дюйм пространства от пола до потолка, оставляя свободным лишь узкий проход от двери к прилавку и еще более узкую тропку к жилым комнатам в глубине.

Мы вошли. Молодая женщина, расположившаяся с книгой на низкой скамейке за прилавком, отложила книгу в сторону и медленно поднялась. Она была во всем черном. Затрудняюсь подробно описать, что это был за наряд. Знаю только, что одежды ниспадали до пола свободными, пышными складками, и лишь у шеи и на запястьях проглядывала узкая полоска тончайшего батиста; но даже столь изящное и необычное платье не задержало моего внимания — до такой степени пленила меня ее красота.

Да, она и впрямь была прекрасна — прекрасна сверх всяких моих ожиданий. Ковентри Тернер, при всем своем воодушевлении, не сумел воздать ей по заслугам. Он расточал похвалы ее глазам — огромным, лучистым, печальным глазам, — прозрачной бледности, точеным чертам лица; но ни словом не обмолвился о том естественном достоинстве, совершенном благородстве и утонченности, которые сквозили в каждом ее взгляде, в каждом жесте. Мой приятель попросил дозволения снова взглянуть на браслет, приглянувшийся ему накануне. Горделиво, величаво, не проронив ни слова, она отперла ящик и положила вещицу на прилавок. Он спросил, нельзя ли поднести браслет поближе к свету. Она наклонила голову, и только. Меня не оставляло чувство, будто нам прислуживает юная императрица.

¹ Перевод Арк. Штейнберга.

Тернер прошел с браслетом к двери и сделал вид, что внимательно его разглядывает. Две золотые цепочки, через равные промежутки соединенные узорной деталью в форме бобового зерна с ярким кораллом и бриллиантами. Вернувшись к прилавку, он спросил у меня совета: понравится ли браслет его сестре, которой он обещал привезти сувенир из Венеции?

— Вещица прелестная, — ответил я, — но сувенир из Венеции должен быть изготовлен в Венеции. Это же, полагаю, турецкая работа.

Прекрасная еврейка подняла на меня взгляд. Мы говорили по-английски; она, однако, все поняла и холодно уточнила:

— E Greco, signore¹.

В ту же минуту из какой-то темной конторы в глубине неожиданно вышел седой бородатый старик — все подмечающий Шейлок с карандашом за ухом.

— Иди в дом, Саломея... иди, дитя мое, — поспешно сказал он. — Я сам обслужу этих господ.

Она лишь на мгновение встретилась с ним взглядом и молча пошла прочь, скрывшись в сумраке задней комнаты.

Больше мы ее не видели. Мы еще немного потянули время, праздно переходя от одного ларца с украшениями к другому, но наши надежды не оправдались. В конце концов Тернер купил свой браслет, мы снова оказались на узких улочках и вскоре вернулись на яркий свет главной венецианской площади.

— Ну как, — выдохнул он, обмирая от волнения, — что скажешь?

— Хороша!

— Красивей, чем ты думал?

— Стократ. Но...

— Чем скорее ты выбросишь ее из головы, тем лучше! — закончил он за меня.

Он, конечно, принялся клясться и божиться, что никогда не выбросит ее из головы, никогда не сможет забыть. Он и слышать не хочет о том, что их разделяет, знать не желает никаких возражений и не верит ни в какие препоны. То, что прекрасная Саломея не только не ведает о его страсти и не интересуется его персоной, но и понятия не имеет, кто он и что он, почиталось сущими

¹ Греческая, синьор (*um.*).

пустяками, не стоящими даже упоминания в его перечне возможных осложнений. Уразумев, что он безнадежно глух к доводам рассудка, я умолк.

Не прошло, однако ж, и недели, как все было кончено.

— Скажи-ка, Блант, — произнес он как-то утром, приблизившись к моему столику в кофейне гостиницы, где я устроился с намерением ответить на целую кипу писем из дому, — не двинуться ли нам завтра поутру в Триест? Ну полно, не смотри на меня так... ты ведь меня знаешь. Я болван, что возмечтал, будто она полюбит меня, меня — незнакомца, чужестранца, христианина!.. Но все равно мне ужасно не по себе и... и хочется бежать отсюда за тысячу миль!

Мы вместе поехали в Афины и там распрощались — Тернер держал путь в Англию, а я на Восток. Мои странствия продолжались много месяцев. Сперва я направился в Египет и Святую землю, потом присоединился к экспедиции на берега Евфрата и вот наконец, после года непрерывной восточной эпопеи, примерно в середине апреля вновь очутился в Триесте. Здесь я обнаружил заветную связку писем, встречу с которой предвкушал тем острее, чем меньше недель до нее оставалось; среди прочих оказалось там и письмо от Ковентри Тернера. На сей раз он был не просто смертельно влюблен, но намеревался вскоре связать себя брачными узами. Письмо изобиловало подобающими случаю восторгами и заверениями. Автор его был счастливейшим из смертных; его суженая — прекраснейшей и приятнейшей из женщин; будущее рисовалось чистым раем; прошлое — печальной чередой заблуждений. Что же до любви, то он, разумеется, дотоле ее по-настоящему не знал.

А как же прекрасная Саломея?

Ни слова о ней, ни единого слова во всем письме! Он забыл о ней так основательно, словно ее никогда и не было. А ведь как безумно он был влюблен и как безумно страдал всего какой-то «годик» тому назад! Так-то... Хотя, с другой стороны, «годик» уж минул — а кто из мало-мальски знавших Ковентри Тернера мог надеяться, что он припомнит свою *la plus grande des grandes passions*¹ по прошествии вполовину меньшего срока?

¹ Величайшую из великих страстей (*фр.*).

Переночевав в Триесте, я на следующий день отправился в Венецию. Не знаю почему, из головы у меня не шел Тернер с его любовными похождениями. Мне вспомнилась Мерчерия — как мы с ним вдвоем туда наведались. Я не мог отделаться от образа красавицы-еврейки. Все так же ли она прекрасна? Все так же ли сидит с книгой за прилавком, и за спиной у нее таинственный сумрак, и вокруг тюки драгоценных тканей и горы украшений?

Неодолимая сила гнала меня вновь пройти по Мерчерии и еще хотя бы раз увидеть Саломею. И я поехал. Утром меня задержали дела, и на место я попал только часам к трем-четырем. Кругом было многолюдно. Я шел по достопамятной улице, высматривая темную лавчонку с неказистым прилавком снаружи... но все напрасно. Когда я забрел так далеко, что впереди она, как мне казалось, быть уже не могла, я двинулся в обратный путь.

Внимательно оглядывая дом за домом, я дошел до сводчатого прохода на улицу, но лавки как не бывало. Напрашивалось единственно возможное объяснение — я все-таки рано повернул назад, и я решил повторить попытку и шел, пока не достиг развилки. Тут я остановился, поскольку твердо знал, что это место я не проходил.

Совершенно очевидно, что старик-еврей не держал больше свою прежнюю лавку на Мерчерии и что шансы установить его нынешнее местопребывание ничтожны. Навести справки у нового хозяина я не мог, потому что не в силах был распознать нужный мне дом. Я не мог, как ни старался, припомнить, чем торговали по соседству. Имени старика — и того я не знал. Уверившись в тщетности дальнейших усилий, я оставил поиски и утешал себя мыслями, что мое сердце тоже не камень — и может, для моего спокойствия лучше не видеть снова прекрасную Саломею. Мне суждено было, однако, увидеть ее — и притом довольно скоро.

Год утомительных, сверх даже обычного, восточных странствий вызвал во мне настоящую потребность в отдыхе, и я решил позволить себе провести месяц на этюдах в Венеции и окрестностях, прежде чем повернуться лицом к родным пределам. Поскольку первейшая задача рисовальщика с натуры — это выбор точки обзора и поскольку более удобного средства передвижения, чем венецианская гондола, не изобретено, все первые дни моего пребывания в городе прошли в бесконечных водных прогулках: то я исследовал всевозможные каналы — большие и маленькие, то делал вылазки в направлении Мурано, то объезжал острова, что

находятся за Каstellо-Сан-Пьетро, попутно делая зарисовки несметного числа живописных видов и выкуривая несметное число сигарет. Кажется, на четвертый или на пятый день такой необременительной работы мой гондольер предложил отвезти меня подалее, на Лидо. До заката оставалось еще часа два, а до великолепного песчаного берега было не больше трех-четырёх миль, так что я согласился, и лодка, взяв новый курс, заскользила прочь от Венеции, с каждым взмахом весла удаляясь от нее все дальше. Постепенно смутная полоска на горизонте приблизилась, выросла над безмятежной гладью Лагуны, открыв взору свой зазубренный контур, потом проступили холмы, разделенные участками бурого песка, вкрапления сухой травы и зарослей кустарника — все выглядело так, словно мы приблизились к краю неведомой и неприятной пустыни, которая для всякого странника означает конец пути. Мой гондольер направил лодку прямо туда, где из воды у берега торчало несколько шестов, указывавших место причала, и там не без труда, поскольку был отлив, развернул гондолу. Я сошел на берег. С первого шага я очутился среди могил.

— E' l cimiterio giudaico, signore, — пояснил мой гондольер, коснувшись рукой шляпы.

Еврейское кладбище! «Гетто» мертвецов! Я припомнил, что когда-то читал, а может быть, от кого-то слышал, что венецианских евреев, в смерти, как и в жизни, не допущенных до соседства с господствовавшими над ними христианами, с незапамятных времен хоронили на этом пустынном берегу. Я наклонился к могильному камню у моих ног. То был всего лишь обломок, поросший желтым лишайником, разъеденный соленым морским воздухом. Я перешел к следующему, потом к другому. Иные почти полностью скрылись из виду, опутанные сорной травой и колючками; некоторые наполовину ушли в песок; от третьих снаружи торчал только угол. Тут и там еще можно было разобрать имя, дату, фрагмент геральдической резьбы, часть еврейской надписи — все больше или меньше оббито, наполовину стерто.

Бродя среди могил и дюн, с каждым шагом поднимаясь в гору и миновав на пути три или четыре зеркально-неподвижных, поросших жидким тростником озерца, я незаметно для себя оказался в центральной, самой высокой части Лидо, откуда на все четыре стороны мне открылся ничем не заслоненный вид. По одну руку лежала широкая, безмолвная Лагуна, ограниченная Венецией

и Евангелийскими холмами; по другую, подкрадываясь ленивыми длинными складками и бесшумно наползая на бескрайний берег, раскинулось синее полотно Адриатики. Какой-то старик, собиравший раковины на морском берегу, и далекая гондола в Лагуне — вот и все признаки жизни на мили вокруг.

Стоя на гребне этого узкого водораздела, озирая сразу оба водных пространства и наблюдая, как вступает в свои права роскошный закат, я впал в одно из тех умонастроений, когда реальное и нереальное сменяют друг друга с прихотливостью сновидения. Мне вспомнилось, как некогда Гёте набрел здесь на свою «позвоночную» теорию черепа... как Байрон, из-за хромоты избегавший пеших прогулок, держал на Лидо лошадей и ежедневно ездил здесь верхом... как Шелли, любивший дикую уединенность этого места, описал его в «Юлиане и Маддало» — не здесь ли он слышал удары колокола, звонившего в сумасшедшем доме на острове Сан-Джорджо?.. Я спрашивал себя, случалось ли бывать здесь Тициану — хотя бы раз покинул он свой мрачный дом на том конце Венеции, чтобы воочию увидеть пурпур и золото этих небес в час заката... бродил ли здесь Отелло с Дездемоной... не здесь ли похоронен Шейлок — и Лия, которую он любил, «когда был еще холостым»?..¹

И вот посреди этих грез я вдруг наткнулся на еще одно еврейское кладбище.

Еще одно — а может, это была далеко отстоящая часть все того же, первого? Нет, определенно иное, по времени более позднее. Сравнительно ухоженное. И памятники новее. Даты, которые мне удалось расшифровать на обветшалых могилах внизу, сплошь относились к четырнадцатому-пятнадцатому векам; здешние надписи указывали на совсем недавнее прошлое.

Я сделал несколько шагов. Возле одной могилы наклонился переписать в блокнот удивившее меня итальянское двустипшие... у подножия другой — сорвать цветок незабудки... с третьей убрать заползшую на нее ветку ежевики... и только тут я заметил, что всего ярдах в десяти от меня у могилы сидит женщина.

Я был настолько убежден, что вокруг нет ни единой живой души, и настолько ошарашен, что в первый момент почти уверил себя, будто и она тоже «создана из сновидений»². Все ее одеяние

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

² Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

с головы до пят свидетельствовало о глубоком трауре; лицо было обращено в сторону от меня, навстречу закату; щека покоилась в ладони. Могила, возле которой она сидела, была, судя по всему, свежей. Редкая поросль вокруг примята, мраморный камень в изголовье не простоял, кажется, и недели под солнцем, дождем и ветром.

Пребывая в уверенности, что женщина меня не видит, я ненадолго задержал на ней свой взгляд. Что-то неуловимое в ее грациозной скорбной позе, в наклоне головы, в складках собольего мантио приковало мое внимание. Молода ли она? Мне подумалось, что да. Оплакивает ли она мужа?.. возлюбленного?.. родителя?.. Я взглянул на могильный камень. Он был покрыт еврейскими письменами; так что, даже подойдя ближе, я все равно ничего не сумел бы разобрать.

Но я чувствовал, что не вправе оставаться здесь, праздно глядя на ее горе, беспардонно нарушая ее уединение. Я бесшумно двинулся прочь. И тогда она обернулась.

Это была Саломея.

Саломея — бледная, изможденная, как после глубокого и опустошающего душу горя, но еще более прекрасная, если такое можно вообразить. Прекрасная еще более одухотворенной красотой, чем прежде: эти запавшие щеки, эти непередаваемо лучистые и строгие глаза... пока я глядел в них, мое сердце, кажется, перестало биться. Мгновение я медлил, не то мечтая, не то надеясь, что во взоре ее мелькнет узнавание; потом, не смея дольше смотреть и задерживаться подле нее, отвернулся. Отойдя на достаточно почтительное расстояние, чтобы не казаться невежливым, я остановился и поглядел назад долгим взглядом. Она приняла прежнюю позу и смотрела в сторону Венеции и заката. Неподвижная, словно камень, возле которого сидела.

Закат был великолепен. Последний отблеск погас на куполах и башнях Венеции; западные вершины из розовых сделались лиловыми, из золотых серыми; миг стала видимой едва заметная пелена тумана над поверхностью Лагуны, и над головой зажглась трепещущая первая звезда. Я все ждал и вглядывался, пока тени не ступились так, что вдалеке уже нельзя было ничего различить. Туда ли я смотрел? Все там же ли она? Все в той же позе? Ушла ли? Я не мог сказать. Чем больше я всматривался, тем больше сомневался. Потом, опасаясь сбиться с пути в надвигавшейся тем-

ноте, я быстро пошел вниз к берегу, напрямик к тому месту, где пристала лодка.

Мой гондольер сладко спал, положив под голову подушку и прикрывшись краем коврика. Я спросил, не видал ли он, пока меня не было, чтобы от Лидо отчалила лодка. Он потер глаза и встрепенулся, очнувшись ото сна.

— Per Vacco, signore¹, уснул я, — сказал он виновато, — ничего не видал.

— А не заметил ты где-нибудь неподалеку другой лодки, когда мы причалили?

— Ни одной, signore.

Он рассмеялся и замотал головой.

— Consolatevi, signore², — сказал он лукаво, — ваша дама придет завтра.

Но, заметив, что я не настроен шутить, он коснулся рукой шляпы и, пробормотав: «Scusate, signore»³, занял свое место на корме в ожидании моих распоряжений. Я велел ему везти меня в гостиницу, после чего, мечтательно откинувшись назад в тесной и темной каюте, скрестил на груди руки, закрыл глаза и стал думать о Саломее. Как же она красива! Красивее, чем я запомнил ее с той первой встречи на Мерчерии! Как могло случиться, что тогда я так мало восхитился ею? Где были мои глаза — или она и впрямь стала еще прекрасней? И в каком печальном, странном месте довелось нам свидеться! Чью могилу она навещала? Отца, должно быть? Да, несомненно. Когда я видел его, он был старик, и жить ему по законам естества оставалось немного. Он умер — вот почему я напрасно бродил по Мерчерии, разыскивая его лавку. Он умер. Лавку сдали другому хозяину. Его добро распродано и рассеяно. А как же Саломея — осталась совсем одна? И нет у нее ни матери? ни брата?.. ни любимого? Разве застыло бы в ее глазах выражение такой несказанной тоски, если бы на земле осталась хоть одна близкая ей и дорогая душа? И я подумал о Ковентри Тернере, о его скорой женитьбе. Любил ли он ее, любил ли по-настоящему? Едва ли. «Кто любит, тот не позабудет», — поется в старинной песне; но он забыл, словно прошлое — не более чем сон.

¹ Ну и ну, синьор (*ит.*).

² Не беспокойтесь, синьор (*ит.*).

³ Виноват, синьор (*ит.*).

И все же, пока он был влюблен, он не кривил душой — всем готов был рискнуть ради нее, если бы она позволила. Ну конечно, если бы... только она не позволила! Тут я припомнил, что он так и не посвятил меня в перипетии своего романа. Сама ли она его отвергла, или он просил ее руки у старика-отца?.. Получил ли он отставку только потому, что он христианин? Мне в голову не приходило расспрашивать его, покуда мы были вместе, но теперь я отдал бы лучшего гунтера из моей конюшни, лишь бы узнать об этом деле все до мельчайших подробностей.

С головой уйдя в размышления, снова и снова вороша одно и то же, гадая, помнит ли она меня, бедна ли она, действительно ли она совсем одна на свете, давно ли умер ее отец, — гадая о множестве подобных вещей, я почти не замечал, как остаются позади миля за милей водной глади и как вокруг меня смыкается ночь. Меж тем один вопрос возвращался ко мне настойчивее других: как вновь увидеть ее?

Я прибыл в гостиницу; отужинал за табльдотом; вышел на улицу, наведаясь в мою любимую кофейню на площади; заглянул на полчаса в театр «Фениче», где прослушал один акт чрезвычайно жалкой оперы; вернулся домой в беспокойстве и смятении, без малейшего желания лечь в постель; и час за часом, сидя перед камином в спальне, терзал себя все тем же неотвязным вопросом: как вновь увидеть ее?

Вконец утомившись, я уснул в кресле, и когда проснулся, за окном уже ярко светило солнце.

Я вскочил на ноги. Мне все стало понятно. Догадка озарила меня, как солнечный луч за окном. Всего только и нужно, что снова отправиться на кладбище, скопировать надпись на могиле старика-отца, попросить моего ученого друга, падуанского профессора Николаи, перевести ее, и тогда, располагая именами и датами, легко разрешить остальное.

Не прошло и часа, как я снова был на пути к Лидо.

Обычным притиранием я перевел на бумагу все, что было высечено на камне. Это самый быстрый метод — и самый надежный; ведь, как я слышал, в еврейском все зависит от наклона черточек в буквах, и я боялся довериться своей неопытной в таком занятии руке. Осуществив задуманное, я тотчас поспешил назад, написал профессору и отправил ему письмо вместе с копией-притиркой дневным поездом.

Профессор не славился расторопностью; вернее, наоборот, он славился своей выдающейся медлительностью; он жил словно в полудреме, не слишком себя утруждая, весь погруженный в свое любимое востоковедение. От любого другого корреспондента ответ мог бы прийти уже назавтра; но от падуанского профессора Николаи раньше чем дня через два или три ждать было нечего. А до той поры что же? До той поры можно осматривать дворцы и церкви, делать зарисовки, развозить рекомендательные письма. Во всяком случае, проявлять нетерпение ничему бы не помогло.

И все ж я был в нетерпении — настолько, что не мог ни рисовать, ни читать, ни просто усидеть на месте хотя бы десять минут. Охваченный неукротимым беспокойством, я блуждал из галереи в галерею, из дворца во дворец, из церкви в церковь. Даже в гондоле я чувствовал себя будто в тюрьме. Меня словно что-то побуждало к непрерывному движению и действию; и все равно первый день тянулся бесконечно.

Следующий был и того хуже. Забрехала вероятность — не более — ответа из Падуи, и это окончательно лишило меня покоя. С восьми до четырех я караулил каждую доставку почты и, ничего не дождавшись, пошел прогуляться до переправы возле Святого Марка, где меня окликнул мой знакомец-гондольер.

Он поднес руку к шляпе и выжидательно посмотрел на меня.

— Куда прикажете, *signore*? — прервал он затянувшееся молчание.

— На Лидо.

Искушение было слишком велико, и я поддался ему; но поддался против своего же здравого суждения. Я понимал, что мне не следует возвращаться снова и снова. Я решил, что не поеду больше. И вот поехал.

По пути я убеждал себя, что еду только для рекогносцировки. Резонно допустить, что Саломея может оказаться на том же месте примерно в тот же час, как и раньше; и в этом случае мы сумеем нагнать ее гондолу в море или обнаружить на приколе у берега. Как бы то ни было, я твердо решил, что сам на берег не сойду. Но, миновав Каstellо-Сан-Пьетро, мы более не встретили ни одной гондолы, как ни одной не увидели и вблизи острова. Вечерело, солнце клонилось к закату; во всей Лагуне и на всем Лидо, кроме нас, никого не было.

Гондольер причалил там же, где прежде, и пришвартовал гондолу у того же шеста. Для него само собой разумеется, что я сой-

ду на берег; и я сошел. Впрочем, Саломеи на острове быть не могло, а значит, меня нельзя было обвинить в навязчивости. Можно пойти в направлении кладбища и постараться, если она все-таки там, с ней не встретиться, а держаться подальше от того места, где я ее увидел. Так я переменял еще одно свое решение и стал подниматься к вершине Лидо. Вновь мне встретились на пути соленые озерца с тростником; вновь я стоял, озирая море слева и Лагуну справа и между ними — нескончаемые, на мили растянувшиеся песчаные отмели. А вот и новое кладбище. Стоя наверху, я видел его всё как на ладони. Мог даже различить могильный камень, с которого снял копию за день до того. Кругом ни единой живой души. Я был здесь, судя по всему, в полнейшем одиночестве, как Енох Арден на своем необитаемом острове.

Потом я двинулся вперед — чуть ближе, еще чуть ближе — и в итоге, вопреки всем своим твердым решениям, оказался на том самом месте, у той самой могилы, к которой я запретил себе любым предлогом приближаться.

Солнце как раз садилось — точнее, село, скрывшись за грядой золотистых по краям облаков, и залило багрянцем землю, море и небо. В этот самый час я давеча и увидел ее. На этом самом месте она и сидела. На могиле тут и там пробивались жиденькие стебельки. Должно быть, ее платье касалось их... ее платье — а может, ее рука. Я сорвал одну травинку и бережно уложил ее между страницами блокнота.

Наконец я повернулся, чтобы уйти, — и встретился с ней лицом к лицу!

Она была ярдах в шести и шла прямо на меня. Голова чуть наклонена, руки сцеплены впереди, глаза устремлены в землю. Поза смиренного самоуничтожения. Вздвогнув от неожиданности, едва сознавая, что делаю, я в полном замешательстве снял шляпу и отступил в сторону, чтобы дать ей пройти.

Саломея подняла глаза, словно в нерешительности... замерла на месте... как-то странно посмотрела на меня и, более не взглянув, прошла к могиле отца и села точно так же, как прежде.

Я отвернулся. Я все на свете отдал бы, лишь бы заговорить с ней, но не посмел, и теперь случай был упущен. А мог ведь, мог заговорить! Она посмотрела на меня... посмотрела с таким странным и жалостным выражением во взоре... смотрела долго — можно было сосчитать до пяти... Я мог с ней заговорить, безусловно мог! А теперь... да что там! теперь уже нельзя. Она погрузилась

в прежнее меланхоличное раздумье, подперев рукой щеку. Мысли ее витали где-то далеко. Она и думать забыла о моем присутствии.

Я пошел к берегу, вконец расстроенный и растревоженный. Пока смеркалось, я курсировал вдоль побережья Лидо, высматривая ее гондолу — в надежде увидеть хотя бы, как она отплывает, и, быть может, последовать за ней по воде. Но сумерки быстро сгустились, сменившись темнотой, и мне пришлось сдаться, так и не увидев ни ее самой, ни каких-либо следов ее пребывания на острове.

Лежа без сна в ту ночь, я беспокойно метался в постели и думал о событиях последних дней, снова и снова возвращаясь к тому долговому, упорному, исполненному скорби взгляду, который так поразил меня на кладбище. Чем больше я о нем думал, тем сильнее росло во мне чувство, что в этом взгляде сокрыт был тайный смысл, который я, в тогдашнем моем смятении, не сумел разгадать. Поистине странный взгляд — взывающий к помощи или состраданию, сродни немой мольбе в глазах больного животного. Возможно ли это? Хотя что же тут невозможного?.. Оставшись одна в целом мире, без единого, может статься, мужчины в семье, она оказалась теперь в тяжелом положении и не знает, к кому кинуться за поддержкой... Да, такое вполне возможно. Не исключено даже, что у нее мелькнуло инстинктивное ощущение, будто она может мне довериться. Ах, если бы она и впрямь доверилась мне...

Я надеялся получить долгожданное письмо из Падуи с утренней почтой; но и утро и день прошли, а письма все не было. Ближе к вечеру я уже снова плыл к Лидо; на этот раз с осознанной целью — заговорить с Саломеей. Сойдя на берег, я прямиком направился на кладбище. День выдался пасмурный. Лагуна и небо были одного свинцового цвета, над Венецией повис туман.

Едва взойдя на верхний крыж, я увидел ее. Она медленно блуждала среди могил, величавая, подобно царственной тени. Сам не знаю отчего, я наперед был уверен, что застаю ее там; сейчас же, по какой-то неведомой мне причине, я был столь же уверен, что она ожидает меня.

Дрожа от волнения и все же страшась той минуты, когда она обнаружит мое присутствие, я поспешил туда, к ней, и каждый мой бесшумный шаг впечатывался в рыхлый песок. Еще несколько мгновений, и я поравняюсь с ней, заговорю, услышу музыку ее

голоса — музыку, которую я так хорошо помнил, хотя с тех пор, как я ее слышал, минул целый год. Но как мне обратиться к ней? Что сказать? Я не знал. Времени на раздумья не было. Оставалось только идти вперед, чтобы футах в десяти от ее влачащихся по земле одежд замереть и, когда она ко мне обернется, обнажить перед нею голову, как перед царственной особой.

На мгновение Саломея застыла и посмотрела на меня точно так же, как накануне вечером. С той же тайной скорбью во взоре, с тем же, нет, с еще более ясно читаемым выражением мольбы. Однако она ждала, что я заговорю первый.

Я заговорил. Не помню точно, что я сказал; сбивчиво пробормотал извинения, упомянул, что в свое время имел честь повстречаться с ней, давно, много месяцев назад; но, попытавшись сказать больше — выразить словами, как благодарен и горд был бы я, если бы мог оказать ей любую услугу, хоть скромную, хоть самую обременительную, — я вдруг лишился дара речи.

Не в силах вымолвить ни слова, я поднял глаза и увидел, что она по-прежнему неотрывно смотрит на меня.

— Вы христианин, — сказала она.

При первом звуке ее голоса меня проняла дрожь. Это был тот же голос — отчетливый, мелодичный, тихий, немногим громче шепота — и в то же время не тот. В его музыке звучала меланхолия и, если воспользоваться словом, которое все равно не передает того, что я имею в виду, — какая-то нездешность, достигшая моего слуха, как жалобная нота в песне осеннего ветра.

Я с поклоном подтвердил, что она не ошиблась, я точно христианин.

Она указала на камень, с которого я снял копию.

— Здесь покоится христианская душа, — промолвила она, — погребенная без христианской молитвы... по еврейскому обряду... на еврейском кладбище. Согласится ли незнакомец отдать дань почтения усопшей душе?

— Синьоре довольно сказать лишь слово, — заверил я, — и все, чего она желает, будет исполнено.

— Прочтите молитву над этой могилой, начертайте на камне крест.

— Слушаюсь.

Она молча поблагодарила меня, слегка склонив голову, плотнее запахнула на себе верхний покров и отошла на возвыше-